УДК 321.011

ДВА ПУГАЧЁВА: НАКАЗАНИЕ И ПОМИЛОВАНИЕ В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ

Скиперских Александр Владимирович,
Национальный исследовательский университет,
Высшая школа экономики,
профессор кафедры гуманитарных дисциплин,
доктор политических наук,
г. Пермь, Россия.
E-mail: AVSkiperskikh@hse.ru

Аннотация
В данной статье автор рассуждает о том, как в русской культурной традиции сочетаются практики наказания и помилования. С точки зрения автора, и к наказанию и к помилованию власть прибегает в интересах политической легитимации. В таком случае акт власти восполняет дефицит легитимности. Практики наказания и помилования рассматриваются автором применительно к образу Пугачёва, созданного А.С. Пушкиным. На примере исторической фигуры Пугачёва, имеющего литературного двойника, в пушкинском тексте отчётливо заметно, как носитель власти использует имеющиеся у него ресурсы для артикуляции политических практик наказания и помилования. Высокая частотность чередования принуждения и поощрения, с точки зрения автора, свидетельствует об особой культурной традиции и по-своему характеризует бунтующего человека в русской культуре.

Ключевые понятия:
бунт,
бунтующий человек,
власть,
насилие,
русская культура.

Двойственность человека в русской культуре является её непостижимой тайной. Поступки и выборы человека в русской культуре порой являются абсурдными и жестокими и сложно вписываются в культурную рамку, наделяющую носителя русской культуры добротой, кротостью, религиозностью и целым рядом других положительных черт.

Подобная абсурдность преследует человека в русской культуре в течение всей жизни. Человек, как будто бы в оценке М. Пришвина, превращается в «страдающую середину между сверхчеловеком и подчеловеком» [9, с. 66].

Значительно актуализируют конфликт двух начал в человеке периоды «причащения» властью, представляющей ему шанс раскрыть все свои как позитивные, так и негативные качества. Благородные намерения, декларируемые человеком, достигающим власти, не всегда отображают реальное положение дел после того, как человек начинает пользоваться властью. Дело в том, что власть вынуждена постоянно функционировать в режиме, предполагающем двойственность.

Борьба за право политического доминирования всегда сопряжена с повышенной конфликтностью. Субъекты власти бывают вынуждены артикулировать практики прямого насилия для того, чтобы приобрести доступ к ресурсам и ценностям. Политическая история буквально изобилует примерами подобного рода объективаций. В частности, американский исследователь Чарльз Тилли отмечает, что «история государств Запада с 1800 года является историей насилия. В данный период отмечалось достаточно переворотов и гражданских войн» [14, с. 4]. Российский опыт также содержит примеры насилия, осуществляющегося в рамках борьбы за политическое доминирование. Бунтующий человек, терпение которого может иногда заканчиваться [3, с. 124], периодически объявляет себя равным диктатору, и в этом, безусловно, можно найти определённую логику. Так уж получается, что власть не всегда сдерживается сопротивлением, прибегающим к ненасильственным практикам в духе Л. Толстого или сатьяграхи М. Ганди. Если носители власти прибегают к насилию, то почему бы и тем, кто притязает на неё (власть) не прибегнуть к схожим практикам. Претензия на позицию власти предполагает всю полноту действий, которые должна осуществлять сама власть.

Двойственность власти проявляется в существовании различных режимов функционирования, позволяющих наказывать и миловать одновременно. Данные режимы чередуются с определённой периодичностью. Объяснение этому нужно искать в социальном портрете самой власти, осуществляющейся обычными людьми, перед которыми постоянно открываются искушения либо наказать, либо помиловать. И один, и другой выбор вполне могут демонстрировать собственную значимость, выступая основаниями для политической легитимации.

Наказание и помилование являются некими сигнальными ситуациями, позволяющими определить справедливость претензий конкретного человека на право осуществлять власть. Иными словами, человек, очарованный бунтом и подхваченный его вихрем, может позволить себе сохранить гуманные качества. На наш взгляд, именно таким является фигура Емельяна Пугачёва, очень неоднозначно прописанная А. Пушкиным. Русская поэтесса Марина Цветаева чувственно признавалась, что «вся «Капитанская дочка» для меня сводилась и сводится к очным встречам Гринёва с Пугачёвым»: в метель с Вожатым (потом пропадающим) – во сне с мужиком – с Самозванцем на крыльце комендантского дома» [13, с. 176–178].

Применительно к фигуре Пугачёва помилование будет выглядеть как вполне собой разумеющееся, человеческое решение. Наоборот, человек, срастающийся с властью, представляющий собой часть её физического и политического тела, уже вряд ли сможет так часто демонстрировать добросердечность, что и определит его склонность к практикам наказания. Попробуем рассмотреть, как на примере пушкинского текста работают данные практики, и как они согласовываются с дискурсом власти в реальных политических ситуациях.

Власть и наказание

Именно в способности наказывать и выражается принципиальная разница между тем, кто притязает на власть и тем, кто обладает ею. Человек, наделённый властью, всегда в точности знает, как ему отправлять наказание. При этом он не оставляет шансов на сомнение в собственном выборе в пользу репрессии. Как отмечает Э. Канетти, «властитель никогда не прощает на самом деле. Каждый враждебный акт остается в точности зафиксированным, если непосредственной реакции нет, значит, она отложена на потом. Прощение можно получить в обмен на полное и абсолютное подчинение» [4, с. 324].

Власть изначально предполагает насилие, потому как желание объекта может не совпадать с желанием носителя власти. Это будет предполагать определённую ломку, подстраивание под сильного, ведь уделом власти является вызывание боли в другом. В русской культуре подобные характеры мастерски описывались Ф. Достоевским. Следует обратить внимание, как его герои как будто бы раздваиваются между «стремлением быть похожим как на Бога, испытывающего страдание за других людей, так и на господина, на повелителя, способного отправлять насилие и осуществлять репрессивные акты» [12, с. 168].

Путь к власти связан с большими рисками для физического тела тех, кто встречается на пути отважившегося на это. Причём здесь даже не принципиально, кто претендует на власть – Пугачёв или законный наследник. Здесь важна сама претензия, пусть даже самая отчаянная и романтическая. Очень показательно в этом смысле высказывается в «Опавших листьях» Василий Розанов, которого очень сложно заподозрить в симпатиях к тем, кто пытается покушаться на власть: «революционеры берут тем, что они откровенны. «Хочу стрелять в брюхо», – и стреляет» [11, с. 745]. Тем самым, власть как будто утрачивает свою священность, её тело оказывается уязвимым перед радикальным актом насилия. Существующая диспозиция власти теряет свою фундаментальность, становясь зависимой от воли бунтовщика.

Насилие сопряжено с большими издержками. Наряду с серьёзными рисками для бутовщиков (насилие, исходящее не от государственных институтов, всегда противозаконно и жестоко наказуемо), существуют ещё и риски для случайных свидетелей акта насилия, которые могут оказаться «нравственным центром события – страшным символом издержек истории» [1, с. 298]. Сколько случайных жертв может вызвать воля бунтующего человека, выбравшего путь радикального диалога с государственными институтами.

Периоды политических трансформаций, пробуждающие у их субъектов ощущение справедливости насилия, традиционно связываются с большими объёмами репрессивного давления на общественное тело. Практика насилия может носить показательный характер. Показательная казнь

представителей власти захваченной Пугачёвым крепости предшествует более продолжительной по времени практике присяги новой власти.

Уровень концентрации насилия во власти только увеличивается. Правда, у правоведов здесь, безусловно, будут аргументы в его пользу. Обращение к текстам М. Вебера даёт возможность понимать легитимное насилие в качестве неизбежной данности, традиционно способствующей устойчивости государства, и позволяющей бесперебойно функционировать институтам. Вместе с тем, постоянное отправление насилия является всегда затратным мероприятием, что объясняет попытки рационализации насилия.

Нужно отметить, что государство может быть заинтересовано в том, чтобы периодически напоминать обществу о своей карающей ипостаси. Так, государство может поддерживать тренд на легитимацию жестокости и насилия, воскрешая из исторического и культурного забытья одиозных вождей. Это происходит в духе *soft power*. Памятник Ивану Грозному, установленный в октябре 2016 г. в Орле, служит определённым предупреждением той части общественности, что пытается критиковать современную российскую политику и в каком-то смысле сигнализирует о репрессивных намерениях власти. Что-то подобное можно сказать и о периодическом обращении к образу Сталина, использующегося в различных патриотических ритуализациях.

Власть и сомнение

Двойственный характер власти всегда предполагает сомнение. Рано или поздно перед властью актуализируется момент необходимости переосмысления происходящих событий. Призраки казнённых и репрессированных не дают спокойно спать не только палачам («Плохо спится палачам по ночам» – А. Галич), но и самому диктатору. Религиозность русской культуры, здесь, не отпускает своего конкретного носителя. Человек, наделённый властью, периодически склонен задумываться относительно своих поступков, так или иначе, измеряя их некими известными одному ему этическими сводами. На самом деле, данные установления могут представлять авторскую рецепцию религиозных стандартизаций добродетели и греховности. Это свойство русского характера, на наш взгляд, прекрасно описал О. Мандельштам в автобиографическом «Шуме времени» О. Мандельштам, замечая, что «разночинцу не нужна память, ему достаточно рассказать о книгах, которые он прочел, – и биография готова» [7, с. 152].

Возможно, что именно здесь могут скрываться истоки частых переходов в русской культуре от гнева – к состраданию, от наказания и репрессии – к раскаянию за причинённую боль. Удивительная лёгкость, с которой человек в русской культуре отказывается от определённой картины мира в пользу новой мировоззренческой схемы, вообще, амбивалентность, характерная для человека в России, по мнению некоторых социальных антропологов, может восходить «к русскому обычаю туго пеленать новорождённых месяцами, и только иногда давать им свободно двигаться» [8, с. 45]. С точки зрения норвежского антрополога Ф.С. Нильсена, это, отчасти, может быть причиной частых переходов от холодному к тёплому в отношениях между людьми [8, с. 45].

Переосмыслению собственных решений всегда предшествует сомнение – долгие, ночные размышления. В. Розанов както высказался по этому поводу в «Опавших листьях»: «Мало солнышка – вот всё объяснение русской истории. Да долгие ноченьки. Вот объяснение русской психологичности» [11, с. 733].

В «Капитанской дочке» А. Пушкин был очень убедителен, изобразив Пугачёва в подобный вечерний час за накрытым столом. В период застолья и исполнения каторжанских песен «государь» находится в мечтательном, зачарованном состоянии. Обстановка настолько расслабляет его, делает его сентиментальным, восприимчивым. Пугачёв оказывается зависимым от ситуации, остановки, что проясняет его психологический портрет. Образ жестокого мятежника испытывает удивительную трансформацию: «Черты лица его, правильные и довольно приятные, не изъявляли ничего свирепого… <…> …Все обходились между собою как товарищи и не оказывали никакого особенного предпочтения своему предводителю» [10, с. 176–178].

В этот самый момент Пугачёв предстоит *другим.* Широкий диапазон объявления Пугачёва в различных ипостасях выглядит пугающим. М. Цветаева обратит внимание на это свойство бунтующего человека в эссе «Пушкин и Пугачёв»: «Вожатый пропадает – так подземная река уходит под землю» [13, с. 176–178]. Непредсказуемость Другого всегда вызывает тревогу, а если непредсказуемость исходит от непосредственного носителя власти, то поводы для

волнений существенно умножаются. В случае Пугачёва власть является ситуационной, что только способствует созданию неопределённости, трудной предсказуемости его решений. Если формальная власть в лице институтов государственной власти ещё может быть подчинена определённой логике и последовательности действий, то в случае неформальной власти, наоборот, могут не работать подобные критерии и оценки.

Но, как раз именно в подобные часы бунтующий человек нуждается в отдохновении, в переосмыслении собственных поступков. Правда, как раз именно после подобных передышек человек в русской культуре «заряжается» новой загадочностью, приобретая её в странствии, в движении, в длинном пути. Не случайно, что первая встреча Гринёва и Пугачёвым происходит в чистом поле, в момент надвигающегося бурана. Вовсе не случайно, что Пугачёв в тот момент оказывается один, в то время, как Гринёв находится в компании Савельича и ямщика. Даже в чистом поле, находящемся за рамками права, где, казалось бы, не работают институты власти, бунтующая, странствующая натура противопоставляется обществу, с существующими в нём иерархиями и «правилами игры».

К. Победоносцев как-то признается Д. Мережковскому: «Да знаете ли вы, что такое Россия? Ледяная пустыня, а по ней ходит лихой человек» [2, с. 230–231]. Кажется, что данное признание целиком и полностью воспроизводит саму ситуацию сомнения, испытываемого бунтующим, «лихим» человеком.

В целом демонстрация политических решений требует меньшего времени, нежели их подготовка и осмысление. Можно вспомнить, как Пушкин изображает решение Пугачёвым участи Гринёва, после того, как тот был задержан по пути в Белогорскую крепость. У Пугачёва было два варианта – казнить и оставить Гринёва в живых. Итоговое решение принималось самим Пугачёвым, но, тем не менее, на него оказывали влияние его ближайшие соратники – Белобородов и Хлопуша, предлагавшие собственные варианты разрешения участи молодого офицера. Данные эпизод только усиливает значение ситуации сомнения в процессе подготовки и принятия решения? Решение можно считать в каком-то смысле политическим, потому как оно принимается под воздействием определённого давления со стороны обстоятельств – при этом Пугачёв учитывает позицию своего ближайшего круга и оценивает преимущества и потери, открывающиеся в перспективе. Нужно понимать, что Пугачёв поневоле подражает в принятии решений власти высокого порядка. Даже избу, в которой живёт Пугачёв мужики называют «дворцом» [10, с. 198].

Необходимо понимать, что в политике практически отсутствуют готовые решения, принимающиеся в короткий срок. Чем выше уровень политики, тем меньше вероятности, что политический деятель будет действовать по наитию. В условиях развития современных политических процессов каждое решение требует подготовки и предполагает тщательный SWOT-анализ. Неслучайно власть окружает себя плотным кольцом всевозможных аналитиков и экспертов, до поры до времени, не проявляя желания комментировать какие-либо подробности. Для этого всегда есть «говорящие головы», наподобие современных пресс-секретарей, озвучивающих решения авторитетных инстанций власти.

Так уже выходит, что власть иногда решается на помилование.

Власть и помилование

Двойственность Пугачёва была неслучайно замечена М. Цветаевой, которой был свойственен рваный жизненный ритм. Пугачёв, действительно, представляется разным, двойственным. Равно, как и Пугачёв, в каком-то смысле, двойственным в оценках своего героя выступает и сам А. Пушкин. Пугачёв представляется им более народным в «Капитанской дочке», и более чуждым в конъюнктурном в историческом сочинении «История Пугачёвского бунта». И если в литературном аналоге данной истории Пугачёву может быть свойственно сострадание, и Пушкин пытается постигнуть истоки подобных жестов, то в исторической хронике ему уже не хочется изображать своего героя склонным к сантиментам и прощению. Пушкин является ограниченным дискурсом власти, определяющим автору границы дозволенного. Сложные отношения с императором Николаем I вряд ли было необходимо ещё больше обострять. Да и, в целом, автора сложно заподозрить в симпатиях к мятежникам, которым по тексту «Истории Пугачёвского бунта» даются весьма жёсткие характеристики. Отсюда Пушкин пытается рассуждать в дискурсе власти, языком власти, её аргументами.

Тем не менее, было бы невозможно представлять Пугачёва, не позволяющего

себе высокие акты прощения. Показательным выглядит эпизод из «Капитанской дочки», где «государь» массово прощает тех, кто сопротивлялся ему.

Важно понимать, что Пугачёв притязает на власть, и вместе с этим, на её двойственную природу, позволяющую чередовать наказание и помилование: «Вдруг закричали в толпе, что государь на площади ожидает пленных и принимает присягу. Народ повалил на площадь» [10, с. 169].

Здесь следует вспомнить важное уточнение, сделанное когда-то Альбером Камю, акцентировавшем внимание на том обстоятельстве, что истоки бунта могут быть изначально «щедрыми» [3, с. 355]. Власть, безусловно, имеет репутацию периодически прощающей, что оставляет надежду тем, кто обращается к ней с просьбой. Так, возлюбленная Гринёва едет к императрице в Петербург для того, чтобы вымолить для него прощение. Показательно, с какими словами она обращается к Екатерине II: «Я приехала просить милости, а не правосудия» [10, с. 231].

Элиас Канетти в классическом тексте «Масса и власть» указывает, что «Помилование – это высоко значимый и концентрированный акт власти, ибо он предполагает приговор; до вынесения приговора помилование невозможно. В помиловании заключается также избрание… <…>… Свое высшее проявление власть демонстрирует там, где помилование приходит в последнее мгновение. Именно в миг, когда приговоренный должен принять смерть, под виселицей или перед строем солдат с заряженными ружьями, помилование является как новая жизнь» [4, с. 325].

В своё время это испытал Ф. Достоевский, что неизбежно сказалось на портретах его подпольных героев. Противоречивые, странные характеры никак не успокаиваются, являя себя высокими и героическими, равно, как подлыми и низкими, что является следствием «растворения этических норм» [5, с. 86]. Г. Кузнецова в «Грасском дневнике» вспоминала рассуждения И. Бунина об этой черте русской культуры, раскрывающейся в портретах героев Ф. Достоевского: русский человек «молится, а потом может так запалить в своего бога… как это свойственно всем дикарям, когда бог не исполняет их желаний. Но это не мешает ему потом опять поставить его перед собой, намазать ему губы салом, кланяться…» [6, с. 177]. Вот почему такой разный Пугачёв предстаёт перед нами в текстах А. Пушкина. В его противоречивом репертуаре действий говорит русская культура.

Таким образом, человек в русской культуре является обладателем двух крайностей, позволяющих ему одновременно сочетать состояние негодования и кротости одновременно. В случае, если позиция, занимаемая данным человеком, позволяет использовать власть и отправлять наказание, то это грозит серьёзными последствиями для тех, кому придётся испытать на себе его гнев. Власти дурманяще действуют на тех, кто жаждет сатисфакции за нанесённые обиды и причинённые неудобства. В таком случае наказание не заставялет себя долго ждать. С другой стороны, власть предполагает и некие благородные жесты, которые субъект может периодически осуществлять, расширяя, тем самым, собственную легитимность. Правда, в любом случае, для общества, вынужденного улавливать настроение перманентного диктатора, будут умножаться поводы для тревоги – ощущение неопределённости не может быть созидательно для самой культуры, делая её очень зависимой от текущей политической конъюнктуры.

Особенности русского характера, раскрывающиеся в двоичности Пугачёва, могут говорить и о специфике самой культурной традиции, в рамках которой может и предполагаться некая неопределённость. Наиболее ярко данные свойства культуры демонстрируют себя в моменты кризисов, в периоды политических трансформаций. Русская история буквально изобилует примерами подобных героев, а культурная память до сих пор хранит их имена. Топонимические комиссии, видимо, пока не получили санкцию «сверху» на предание их забвению.

1. Гинзбург, Л. Человек за письменным столом. [Текст] / Л. Гинзбург. Л.: Советский писатель, 1989. 608 с.

2. Гиппиус, З. Дмитрий Мережковский // Живые лица. Воспоминания. Т. 1. [Текст] / З. Гиппиус. Тбилиси: Мерани, 1991. 398 с.

3. Камю, А. Бунтующий человек. Философия. Политика. Искусство. [Текст] / А. Камю. М.: Политиздат, 1990. 415 с.

4. Канетти, Э. Масса и власть. [Текст] / Э. Канетти. М.: Ad Marginem, 1997. 527 с.

5. Кашина, Н.В. Эстетика Ф.М. Достоевского [Текст] / Н.В. Кашина. М.: Высшая школа, 1975. 245 с.

6. Кузнецова, Г. Грасский дневник [Текст] / Г. Кузнецова. СПб.: Издательский дом «Міръ», 2009. 496 с.

7. Мандельштам, О. Египетская марка. [Текст] / О. Мандельштам. Л.: Прибой, 1928. 191 с.

8. Нильсен, Ф.С. Глаз бури. [Текст] / Ф.С. Нильсен. СПб.: Алетейя, 2004. 348 с.

9. Пришвин, М.М. Собрание сочинений в восьми томах. Т. 8. Дневники 1905–1954. [Текст] / М.М. Пришвин. М.: Художественная литература, 1986. 759 с.

10. Пушкин, А.С. Капитанская дочка. Избранная проза. [Текст] / А.С. Пушкин. М.: Художественная литература, 1978. 255 с.

11. Розанов, В. Метафизика христианства [Текст] / В. Розанов. М.: АСТ, 2000. 864 с.

12. Скиперских, А.В. Между Господом и господином: дискурс боли в текстах Ф. Достоевского: политико-культурное измерение. [Текст] / А.В. Скиперских // Politbook. 2015. № 4. 166–179.

13. Цветаева, М. Пушкин и Пугачёв [Электронный ресурс] / М. Цветаева. Наследие Марины Цветаевой // URL: http://www.tsvetayeva.com/prose/pr_pushkin_i_pugachev (дата обращения: 10.11.2017).

14. Tilly, C. Collective Violence in European Perspective. / C. Tilly. University of Michigan, 1978. 70 p.

References

1. Ginzburg L. (1989). Chelovek za pis'mennym stolom. Leningrad, Sovetskij pisatel', 608 p. [in Rus].

2. Gippius Z. (1991). Dmitrij Merezhkovskij // Zhivye lica. Vospominaniya. T. 1. Tbilisi, Merani, 398 p. [in Rus].

3. Kamyu A. (1990). Buntuyushchij chelovek. Filosofiya. Politika. Iskusstvo. Moscow, Politizdat, 415 p. [in Rus].

4. Kanetti EH. (1997). Massa i vlast'. Moscow, Ad Marginem, 527 p. [in Rus].

5. Kashina N.V. (1975) Estetika F.M. Dostoevskogo. Moscow, Vysshaya shkola, 245 p. [in Rus].

6. Kuznecova G. (2009) Grasskij dnevnik. St. Petersburg, Izdatel'skij dom «Mir», 496 p. [in Rus].

7. Mandel'shtam O. (1928) Egipetskaya marka. Leningrad, Priboj, 191 p. [in Rus].

8. Nil'sen F.S. (2004). Glaz buri. St. Petersburg, Aletejya, 348 p. [in Rus].

9. Prishvin M.M. (1986). Sobranie sochinenij v vosmi tomah. T. 8. Dnevniki 1905–1954. Moscow, Hudozhestvennaya literatura, 759 p. [in Rus].

10. Pushkin A.S. (1978). Kapitanskaya dochka. Izbrannaya proza. Moscow, Hudozhestvennaya literature, 255 p. [in Rus].

11. Rozanov V. (2000). Metafizika hristianstva. Moscow, AST, 864 p. [in Rus].

12. Skiperskih A.V. (2015) *Politbook*, no. 4, pp. 166–179 [in Rus].

13. Cvetaeva M. Pushkin i Pugachyov. Nasledie Mariny Cvetaevoj, available at: http://www.tsvetayeva.com/prose/pr_pushkin_i_pugachev (accessed 10.11.2016) [in Rus].

14. Tilly C. (1978) Collective Violence in European Perspective. University of Michigan, 70 p. [in Eng].

UDC 321.011

TWO PUGACHEVS: PUNISHMENT AND PARDON IN RUSSIAN CULTURE

Skiperskikh Aleksander Vladimirovich,
National Research University
Higher School of Economics,
Professor of the Department Chair of the Humanities,
Doctor of Political Sciences,
Perm, Russia.
E-mail: AVSkiperskikh@hse.ru

Annotation
In the given article the author speculates upon how punishment and pardon practices in Russian cultural tradition go together. From the author's viewpoint, power resorts to both punishment and pardon for the benefits of political legitimation. In this case an act of authority compensates deficiency of legitimacy. Punishment and pardon practices are considered by the author in respect to the character of Pugachev created by A.S. Pushkin. Using the example of historical figure of Pugachev who had a literary "twin" in Pushkin's work it is clearly seen that power holder uses the resources for articulating political punishment and pardon practices. High frequency of encouragement and enforcement alternating, from the author's point of view, proves a special cultural tradition and characterizes a rebellious man in the Russian culture.

Key concepts:
revolt,
rebellious man,
power,
violence,
russian culture.